

Время – материя ускользающая... Его бесценные фрагменты подчас бесследно исчезают, как «мимолётное виденье», оставляя позади себя мрак и пустоту. Данное наблюдение относится не только к частной жизни, но и к опыту целых поколений. Как писал старик Державин, «река времён» «топит в пропасти забвенья народы, царства и царей».

Сравнительно недавно ныне живущие литераторы – Борис Кутенков, Николай Милешкин и Елена Семёнова – предприняли беспрецедентный труд как по спасению драгоценных фрагментов прошлого, так и по реставрации картины жизни целого литературного поколения. Они создали поэтическую антологию «Уйти. Остаться. Жить» (М.: «ЛитГОСТ», 2019), где явлено альтернативное официальности или стоящее сбоку от неё поколение поэтов, творивших

в 70-е-80-е годы. Эти поэты подчас были гонимы, не поняты современниками и рано ушли.

Судьбы многих отечественных литераторов в позднесоветский период были драматичны, сложны, исполнены страданий и творческих поисков. Однако достоверно узнать о них не всегда возможно: неумолимое время кидает человеческие (и писательские) судьбы в «пропасть забвенья».

Свидетельство об ушедшем позднесоветском поколении «проклятых поэтов» (позволим себе здесь некоторую игру с понятием, пришедшим из французской словесности) оставил в намеренно хулиганских стихах один из этих поэтов – Сергей Трофимов (1953-1979): *Спасибо родине, народу / и лично Лёнке Ильичу / за эти человеко-годы, / что тихо канули в мочу.* Как и многие поэты сравнительно недавнего, но неизменно памятного прошлого, Сергей Трофимов был социально неприкаян, пил, маялся по психушкам... Он оставил свидетельство не только о себе, но и о целом созвездии поэтов, которым довелось творить в очень непростых условиях.

И вот бесценный опыт целого литературного поколения по крупницам восстановлен в антологии «Уйти. Остаться. Жить».

Поэзия ходит своими потаёнными тропами и далеко не всегда связывается с общественной злобой дня. Как свидетельствует упомянутая антология, поэзию нередко сопровождает уход от тщеты мира и от массовых кумиров. Такой уход, по существу, сопряжённый со смертью, с прохождением через смерть, может быть назван внутренней эмиграцией, несмотря на то что стихи поэтов, опубликованных в антологии, не являются в прямом смысле диссидентскими. Опыт внутренней эмиграции побуждает задуматься о природе литературной эмиграции вообще. Ведь без неё полноценно не мыслима и картина отечественной литературы!

Литературная эмиграция как феномен неизбежно вызывает в уме вопрос о взаимоотношениях поэзии и истории. В самом деле, когда поэт описывает ветку сирени или капли дождя, он обращается к природе и едва ли со всей очевидностью, со всей непреложностью включается в поток исторического времени. Но вот когда поэт (в силу тех или иных причин) покидает родину, он неизбежно включается в круг взаимоотношений родины и чужбины, который неотделим от потока мировой истории, где издавна сосуществуют страны и континенты.

Остаётся добавить, что литературная эмиграция всегда трагически-двусмысленна и, более того, болезненно-парадоксальна. С одной стороны, поэт или писатель явным образом перемещается отсюда, где ему не живётся, туда, где ему становится лучше (а иначе вообще зачем было бы эмигрировать?). С другой стороны, человек покидает

родину, и какими бы сложными ни были его взаимоотношения с тем или иным жизненным фоном в родном краю, отказ от отечества несёт в себе неизбежную ноту саморазрушения.

Литературная эмиграция – явление обоюдоострое; как сказал бы герой Достоевского, следователь Порфирий Петрович, она – это палка о двух концах.

Так, например, нобелевский лауреат Бунин, который покинул большевистскую Россию и продолжал страдать во Франции, – явление настолько же исключительное, насколько и внутренне закономерное. Литературная эмиграция всегда связывается с кругом тех или иных трагически-пёстрых исторических обстоятельств.

Они меняются («Всё течёт, всё меняется» – когда-то сказал премудрый Гераклит). Прежде всего, на эмиграцию нулевых повлияла отмена «железного занавеса». Более того, она фактически поставила под вопрос само понятие эмиграции. Попросту появилось множество людей, которые живут и работают на несколько стран, причём такая их жизнь может успешно сочетаться с искренним патриотизмом. Им никто не мешает любить родину, но ездить за рубеж на заработки или просто ездить за рубеж смотреть мир. Случается и такое, что люди, подолгу живущие за границей, остаются людьми общественно консервативными (приверженными едва ли не к официальным кругам в России) или, во всяком случае, остаются убеждёнными патриотами (что, впрочем, не одно и то же).

Например, Евтушенко пишет: *мы уродились в такой стране, / где тягу к бегству не остановишь, / но приползаем – / хотя б во сне. / С ней не расстаться, / не развязаться. / Будь она проклята, / по ней тоска / вцепилась, будто репей рязанский / в сукно парижского пиджака.* Со свойственной ему острой парадоксальностью, поэт сигнализирует о том, что жизнь за рубежом лишь усиливает русскую боль, а значит, само понятие эмиграции поэтически аннулируется или хотя бы в потенциале – исчезает.

Очевидно, соревнуясь с Бродским, Евтушенко узнаваемо вторит его строкам, которые стали настолько хрестоматийными, «заезженными», что их цитировать едва ли не излишне: *На Васильевский остров / я приду умирать.*

Но мотив скрытой или явной репатриации, который Александр Галич назвал бы «давнишним», «запетым», согласуется с мировым архетипом одиссеи (архетипом таинственного возвращения на круги своя из долгих блужданий), и он актуален сегодня, когда границы (по крайней мере, формально, юридически) открыты.

Евтушенко усиливает, если ни утрирует сказанное Бродским, заканчивая своё стихотворение вольным отрицанием эмиграции как феномена: *Хоть скройся в Мекку, / хоть прыгни в Лету, / в кишках –*

*Россия. / Не выдрать! / Шии! / Невозвращения в Россию нету. / Из сердца собственного не сбежишь.*

Если Россия в сердце (и в сокровенном нутре), то не так уж важно, где человек находится физически – во Франции или в Штатах, – вот о чём художественно свидетельствует Евтушенко, и очевидно, что в пору Бунина вопрос об эмиграции (или о её невозможности!) так не стоял. При Бунине имели место иные исторические обстоятельства.

Между тем Евтушенко не просто постулирует в отдельных строках новый тип (облик) русской поэзии за рубежом; он своей собственной судьбой демонстрирует русскую одиссею. Отметим два чрезвычайно ярких факта. Во-первых, благополучно живя в Штатах, Евтушенко подарил российскому государству целую галерею собранных им картин, фотографий, а также уникальных архивных документов, изначально принадлежавших ему и его семье. Эта галерея в литературном посёлке Переделкино до сих пор работает как музей и открыта для посещения (улица Гоголя, д.1). Невозможно не отметить, что широкий жест Евтушенко – передать значительную часть своих художественных ценностей России, одновременно нёс в себе почти конъюнктурную составляющую (впрочем, не вкладываем в слово конъюнктура оценочного смысла; лишь констатируем, что эмигрант Евтушенко был не вовсе чужд официального патриотизма). Это, во-первых. Во-вторых, Евтушенко ныне покоится на кладбище в Переделкино (в соседстве с Пастернаком и Чуковским). Тем самым он по-своему осуществил сокровенную мечту Бродского быть похороненным в России. Завершил свою одиссею.

Новый лик русской поэзии за рубежом в нулевые годы сопряжён с нынешней средой обитания как в России, так в Америке или Европе. Поразительно, но факт: при всех политико-экономических стрессах человечества, среда жизни частного человека в России и за рубежом сегодня приблизительно одина (!). Компьютеры, мобильные телефоны, иномарки встречаются повсюду, европейские средства связи и другие технические ухищрения европейской цивилизации сейчас существуют по ту и по другую сторону границы. И вот что интересно: если иномарки или их русские аналоги начнут производить где-нибудь под Урюпинском, в визуальном – и главное, в семиотическом – смысле данное обстоятельство никак не повлияет на русскую среду обитания. Какая разница, где территориально производят автомобиль, если он имеет вполне европейский вид? соответствует «европейским стандартам»? То же самое относится, разумеется, к компьютерам, принтерам, сканерам и т.д. В нынешнем Шереметьево (оно же аэропорт имени Пушкина) сфера обслуживания, включая уютные кафе, приблизительно такая же, как в Европе и Америке – по другую сторону пограничных флажков. Идёт унификация.

Однако противопоставить ей остаётся лишь провинциальную замкнутость, провинциальный снобизм иных ретивых русопятов. Например, Владимир Сорокин в романе «Теллурия» описывает антиутопическое школьное сообщество, где за слово «интернет» в качестве наказания ставят на горох. Рядом с означенным речевым табу можно поставить разве что неуклюжее слово «мокроступы» (вместо европейских калош), изобретённое более двух веков назад литератором Шишковым, главой ретроградной «Беседы». Увы, попытки повернуть Россию вспять с европейского пути, открытого Петром, нередко ведут во мрак, в одичание, в исторический тупик.

И напротив, привычные символы России подчас неожиданно интернациональны. Так, русский писатель Фридрих Горенштейн (значительную часть жизни проведший в Германии) в своём романе «Псалом» удивляется: почему берёзка непременно русская, когда вообще-то берёзы встречаются по всему миру, их можно встретить, например, в Норвегии или в Канаде?..

Тут-то и является перед нами загадка эмиграции в нулевые. А что, если берёза где-нибудь в Канаде переживает и воспринимается выходцем из России всё-таки необъяснимо иначе, нежели в России? И что, если относительно единая среда обитания здесь и там всё-таки по-разному варьируется в России и за её пределами? Что ж, возможно эта таинственная разница двух *миров* значит больше, чем их обманчивое внешнее сходство!..

Мы видим, что между родиной и чужбиной по-прежнему пролегает бездна – и то, что она с виду незаметна, лишь углубляет её значение, взывает к ней обратиться, исходя из опыта русской поэзии за рубежом. Границы-то открыты, сегодняшний мир, как мы выяснили, в принципе един, и, однако, поэт без особых причин не переместится с привычного места на почти астрономическое расстояние в другое местожительство. Русская поэзия нулевых, явившаяся за рубежом, заслуживает, по меньшей мере, пристального внимания. И она постоянно пребывает в явном или скрытом диалоге с Россией. Ведь и горькое отречение от привычного местожительства – это тоже своеобразная форма диалога или выбора между «своим» и «чужим». («Невозвращения в России нету»).

Андрей Ширяев (Эквадор) писал: *Уже была черёмуха. Теперь / Москва боится заморозков, Тверь / в ночное небо смотрит из колодца, / Европа бодрствует, и счёт потерь / неведомым учётчиком ведётся. / Стучат костяшки, прыгает луна...* Поразительно! Индивидуальная конкретность Твери (и поэтически единственной ей русской зимы, русской ночи и луны) с особой остротой ощущается поэтом на общемировом, общеевропейском фоне. И знаменитая строка Есенина

«Большое видится на расстоянии...» в контексте русского зарубежья эпохи нулевых, быть может, приобретает новый смысл.

А вот Наталья Горбаневская (Франция): *Там, где пушкинская осень над тосканскими холмами, / там, где лавровая прозелень сквозь позолоту клёна, / тёплый ветер октября, лёгкий парус корабля, / удивлённа и доверчива перед ангелом Мадонна.* Пушкинские аллюзии являются у Горбаневской в контрастной соотносительности с европейским фоном – и это не случайно в свете особой сокровенной приверженности Пушкина к Франции, родине колкого Вольтера и нежного Парни. Франция своими глубинными корнями в свою очередь связана с величественным Римом – одним из центров европейской культуры. В контекстуальном (а не только в географическом) соседстве с ним простираются *тосканские холмы*. И если у Ширяева неповторимые черты России угадываются издалека, то у Горбаневской, вследствие её зарубежного опыта, является соотносительность России и Европы, знакомая нам, по меньшей мере, со времён Петра-преобразователя.

В иносказательном смысле эмигрантские поэты нулевых переживают то, что сказано у Маршака в стихах о неприкаянном интеллигенте, о человеке рассеянном: «А приехал я назад, а приехал в Ленинград». Вот это мысленное возвращение поэтов-эмигрантов к своим истокам, контрастно обусловленное европейским и мировым фоном, сопровождается их способностью по-новому увидеть, по-новому описать и по-новому показать те отечественные реалии, которые подчас становятся привычными и как бы стёртыми для россиян. «Большое видится на расстоянии...». Или, выражаясь языком любимого Есениным поэта Батюшкова, странствователь благодаря своему беспокойному уму по-своему лучше (глубже, острее, сокровенней) чувствует родину, нежели домосед – существо немного инертное. Ширяев и Горбаневская являют нам пример поэтических странствователей...

Иная, но отчётливо смежная возможность эмигрантской музыки заключается в том, чтобы не перенестись мыслью в Россию, а напротив, узнать в Европе черты России, некогда преобразованной Петром.

Вот строки Майи Шварцман (Бельгия): *Витая речь, тональный крем / и Леви Страус / скрывают сыпь твоих экзем, / одышку пауз, – / неузнаваемый никем / неловкий Фауст, / тебя принёс не насовсем / на землю аист.* Шутливо обыгрывая на русский лад имя *Леви-Стросс* (параллельно вспоминается Пушкин, назвавший известного французского баснописца «Мудрец простосердечный, Ванюша Лафонтен»), Шварцман вскоре поэтически открывает и русского Фауста, человека сколь ироничного, столь же и трагического...

Угадать в Европе черты родственные России, мысленно вернуться из зарубежья в Россию, контрастно ощутить её – вот к чему наклонна и к чему способна эмигрантская лира. У неё имеется и третья возможность (отчасти уже обозначенная выше в разговоре о Евтушенко). Нередко русская эмигрантская поэзия нулевых несёт в себе общечеловеческий смысл, который слегка варьируется на русский лад.

*Земля не более чем семя / в системе Солнечной* – пишет Инна Лиснянская (Израиль). Поэты-эмигранты подчас более зримо, весомо, нежели мы, россияне, вспоминают о том, что человек – это гражданин мира, а человечество, начиная от Адама и Евы, составляет единую семью.

В мудро ироничном (и поэтически универсальном) ключе переосмысляет свой эмигрантский опыт Наум Коржавин (США). *Какая сука разбудила Ленина?* – пишет поэт в хрестоматийно известных стихах, остроумно обыгрывая известный ленинский афоризм: «декабристы разбудили Герцена». Однако нам интересна в данном случае не ирония по поводу Ленина (которая в силу понятных исторических причин становится уже старомодной), а способность Наума Коржавина из-за рубежа ощутить Россию *как целое, как некую часть системы Солнечной*.

Поэты, о которых только что шла речь, многообразны – однако всех их нечто объединяет: поразительным образом они не могут быть названы собственно эмигрантскими поэтами, хотя значительная часть их жизней проходила за рубежом. Главное, что они нам оставили, завещали – их стихи! – словно не уместается в эмигрантские параметры. Зарубежье ни в коей мере не становится самодовлеющим мотивом их творчества. Оно существует либо в таинственном сличении с Россией, либо в соотносительности с *мировым целым*. Но может ли душа поэта выдержать мировое целое? Или же поэт, словно вынужденный нести на себе шар земной, рано уходит, не выдержав непосильного груза? Может ли душа поэта неуязвимо пребывать в некоторой неизбежной раздвоенности, в неустойчивом смысловом поле меж родиной и чужбиной? Или же нервы поэта не выдерживают раздвоенности, и ностальгия в сочетании с невозможностью репатриации делает своё роковое дело?

Случайно ли, что поэтов, о которых шла речь, уже нет в живых?.. Они были вынуждены экзистенциально метаться между родиной (подчас суровой к своим сыновьям, к своим дочерям) и чужбиной (едва ли способной вполне заменить отечество). Они буквально не находили себе места под солнцем и (возможно преждевременно) покинули этот мир...

Им на смену неизбежно идёт новое поколение поэтов, всё более убеждающее читателей в существовании единого мирового

пространства. Случайно ли, что, например, в московском метро станции объявляют по-русски и по-английски; это сравнительно недавнее нововведение. Метро в крупном отечественном мегаполисе стремится быть интернациональным. Сказанное, казалось бы, разительно противоречит нынешним политическим конфликтам между странами, «войне санкций» и т.п. В первом приближении мы наблюдаем едва ли ни ремейк понятия эмиграции, оно словно оживает там, где Россия стремится отмежеваться от Америки и Европы, там, где она «поднимается с колен». Однако общественная злоба дня не может распространяться на мировую культуру (родившуюся задолго до политических конфликтов, сотрясающих человечество сегодня). Вряд ли бы даже в наши времена, когда всё более вступают в силу те или иные официальные табу, на территории нынешней России в законодательном порядке могли бы запретить, например, музыку Баха или поэзию Гёте. Эти политически нейтральные художественные феномены говорят о существовании единого корпуса мировой культуры в едином планетарном пространстве.

Не говорим уже о том, что его последовательное отрицание потребовало бы отмены всей русской культуры после-петровского периода – например, потребовало бы запрета на Пушкина, который учился у Парни и Байрона или запрета на Достоевского, который перенял из-за рубежа опыт готического романа (и многое, многое иное). Даже Есенина, русского парня с гармонью, поэта из рязанской деревни, пришлось бы запретить, потому что он носил цилиндр на английский лад (что было неотъемлемой частью его авторского имиджа).

Политические конфликты между странами могут быть сколь угодно серьёзными, однако они локализованы на общемировом фоне. Случайно ли, что геополитические борения сегодня обнаруживают себя в локальной сфере экономики?.. Тем не менее, конфликтная политическая обстановка в мире, официальная патриотическая риторика в России сегодня успешно сопровождается старым, известным с советских времён «образом врага» и ретроспективно свидетельствует о трагедии эмиграции, которую по-разному пережили упомянутые выше поэты (при всём наличии единого мирового пространства).

Относительно ранний уход целого поколения поэтов в мир иной лично и творчески симптоматичен. Физическая смерть поэтов – феномен, который мысленно возвращает нас к антологии «Уйти. Остаться. Жить», требует деликатного осмысления – и оно могло бы состояться с помощью новой антологии. Эта антология могла бы творчески органично продолжить предыдущую и вместе с тем развёрнуто явить новый коллективный (и одновременно – уникально частный, интимно-психологический) феномен: русскую поэзию нулевых и десятых годов за рубежом.

неизбежности будет контрастно сопряжена с чисто литературоведческой постановкой вопроса о том, какие метаморфозы переживает язык русской поэзии в условиях зарубежья (иначе говоря, в новых условиях). Личностный вопрос об отношении поэта к своей отчизне (который не исчезает и в условиях относительно единого мирового пространства) коррелирует с литературоведческим вопросом о существовании (и о неизбежных метаморфозах) русской поэзии в иноязычных условиях.

Русская поэзия за рубежом многомерна по смыслу. Но смысл как таковой – удел мыслителей, тогда как поэзия живёт тайной языка. Следовательно, русская эмигрантская поэзия нулевых и десятых годов как средоточие личностных ценностей и смыслов существует в той таинственной семиотической среде, которая имеет неожиданное отношение к проблеме перевода. Sic! И русскоязычные стихи эмигрантов, написанные в иноязычном языковом поле, по разновидностям авторского почерка (а не только по смыслу) отличаются от стихов, которые пишутся в русскоязычной среде. Вот этот сдвиг русского языка в новое семиотическое поле интересен как новая возможность, новая фаза поэтической жизни русского языка. А она в свою очередь мыслима в тех или иных ритмико-синтаксических условиях и метро-ритмических параметрах.

Литераторы, часто бывающие за рубежом, говорят, что русский язык располагает к силлабо-тонике, тогда как в Европе (и особо во Франции) в силу особенностей европейских языков большинство поэтов давно перешли на верлибр. Остаётся добавить, что силлабо-тоника в России всё ещё сравнительно молода, ей двести – ну, максимум триста лет (силлабо-тоника окончательно утвердилась у нас лишь к концу XVIII века). И она ещё не успела себя исчерпать, тогда как в Европе она – словами Маяковского (сказанными совсем по другому поводу) – *в привычку вошла, обветшала, как платье*. – Тем самым поэтическая Россия противопоставляется поэтической Европе на уровне ритмических схем, ритмических принципов (а не только смыслов). Заметим, однако, что силлабо-тоника в России была результатом *культурного импорта* из Европы, и даже бойкие зазорные частушки, которые на слух большинства читателей воспринимаются как нечто «чисто русское», зазорные частушки (в отличие, например, от русских былин или протяжных песен) несут на себе отчётливую печать европеизации, каковую успешно прошла русская поэзия. И с другой стороны, уход русской поэзии в верлибр (он сейчас моден в России) знаменует не только её приобщение к мировому опыту, но также – имманентные свойства русской словесности. К их числу относится отказ от ритмической стройности (неизбежно присущей силлабо-

тонике) и порой даже отказ от эстетики во имя глубины смысла, во имя ответственности поэта перед вечностью (которая, конечно, не состоит из одних только форм или вообще противится всякой форме).

Итак, за различием ритмов, которые поэтапно приживаются в России и Европе, угадываются, во-первых, свойства русской души, во-вторых, взаимоотношения России и Европы, в-третьих, некие сокровенные смыслы (общечеловеческого характера)... Всё это являет нам поэзия русского зарубежья начала XXI века, какие бы ритмические пути она ни избирала.

Будучи в какой-то мере интернациональной, эта поэзия заслуживает особого внимания. Она, несомненно, несёт в себе общечеловеческие смыслы, содержит художественные свидетельства (а подчас и художественные откровения) о современной России и (выражаясь языком Пушкина) несёт в себе множество *открытий чудных*.